

2012

ROSSICA YOUNG

TRANSLATORS

AWARD



WWW.ACADEMIA-ROSSICA.ORG

contact: james.rann@academia-rossica.org

About the Rossica Young Translators Award

The RYTA was set up in 2009 by Academia Rossica, an organisation dedicated to promoting Russian culture in the English-speaking world. Passionate and talented translators are essential for the future health of Russian literature, so we are determined to unearth and nurture a new generation of translators to share the wealth of Russian literature around the world. The RYTA is designed to encourage and reward these young translators and bring to their attention some of the best contemporary prose. Previous winners and shortlisted translators have now established themselves as professional translators and editors. The Prize now has a global reach, with over 50 entries last year from the UK, America, Russia and even further afield. The quantity and quality of these entries promise a bright future for translation from Russian and raise expectations of an even better competition this year.

Shortlist, Announcements and Prize

Translators who make the RYTA shortlist will be invited to the announcement of the shortlist at the London Book Fair on 16-18 April 2012, where they will get the chance to meet Russian writers and industry insiders. . Shortlisted translators from North America will be invited to attend Book Expo America, where Russia is guest of honour, on 4-7 June 2012.

The winning entry will be announced, alongside the winner of the senior Rossica Prize, at a special event in London on May 10th. The winner will receive an award of £500 and will be given the chance to attend to the inaugural Read Russia Translation Prize in Moscow.

Judges

The award is judged by a panel of three judges, including eminent academics and translators. The panel is currently being finalised: information regarding members of the jury will be published on www.academia-rossica.org in the near future.

Terms and Conditions

(i) All entries must reach Academia Rossica on or before **15 March 2012**. Entries received after this deadline will not be sent to the judges.

(ii) All candidates must be aged 24 or under on this day (**15 March 2012**) to be eligible to enter the competition.

(iii) Entrants must translate one of the three extracts in this brochure. Translations of any other work will not be considered. The extracts are all from books recently published in Russia to great acclaim, namely:

- Виктор Пелевин, *S.N.U.F.F.*
- Фигль-Мигль, *Ты так любишь эти фильмы*
- Дмитрий Быков, *Остромов, или Ученик чародея: Пособие по левитации*

(iv) Entries should be submitted electronically to james.rann@academia-rossica.org, with the subject line 'RYTA submission'.

(v) Each entry must include:

- The translator's name.
- The translator's date of birth.
- The educational institution to which the translator is attached (if applicable).

(vi) Group translations are permitted. However, the name, date of birth and educational institution of every translator must be included with the submission.

RYTA Authors

Viktor Pelevin



Despite his renowned aversion to publicity, Viktor Pelevin can justifiably be called the most famous Russian writer of his generation, not least because he has frequently attracted the attention of prize juries, being a regular fixture on short lists and winning, amongst others, the Apollon Grigoriev Award and a National Bestseller Prize. He is one of the most widely read and respected authors of the post-Soviet era, thanks to his ability to weave together caustic satire, absurdist humour and Eastern mysticism to produce intelligent, readable, texts. Voted Russia's most influential intellectual in a 2009 poll, Pelevin has long been an icon for smart readers both in Russia and abroad, with over a dozen of his works appearing in English, most recently, *The Hall of the Singing Caryatids*.

Figgle-Miggle



This author, one of the literary sensations of 2011, is even more inscrutable than Pelevin. If we ignore the rumours, no information is available except that he or she is from St. Petersburg and likes to be known as Figgle-Miggle. The pseudonymous author's perplexing, and nearly untranslatable, self-description sheds little light on matters: "Figgle-Miggle is kind of a big deal. Born before their time, Figgle-Miggle will leave us too soon. Figgle-Miggle does not, cannot and will not belong. A professional overreading *figovidets*, living in the ruins." After the success of *Shchast'e* and publications in *Zvezda* and *Neva*, critics labelled Figgle-Miggle an heir to the traditions of Gogol and Bulgakov, noting particularly the exquisite style and distinctive narrative voice. *Ty tak lyubish' eti fil'my*, which was nominated for the 2011 National Bestseller Prize, only to be pipped by *Ostromov* at the insistence of noted culture maven Ksenia Sobchak.

Dmitri Bykov



As ubiquitous as the other authors are reticent, Dmitri Bykov is an undisputed heavyweight of contemporary Russian letters. He is one of the most garlanded novelists of his generation, with the recent National Bestseller Award his tenth major prize, awarded for *Ostromov, ili Uchenik charodeia*, the third book in a loose trilogy, also comprising *Orfografiia* and *Orpavdanie*, detailing forgotten aspects of the early Soviet Union in Bykov's uniquely vivid style. Bykov's work is now also beginning to be recognised in the English-speaking world, especially after the publication of a translation of his novel *ZhD* as *Living Souls* in 2010. Alongside his prodigious output of novels and biographies, Bykov is also a highly-regarded poet—his most recent project being the satirical poetry programme 'Citizen Poet', which ties together his love of poetry and his long-standing experience as a

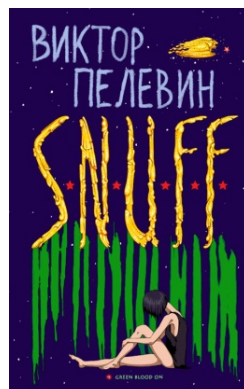
journalist and outspoken cultural commentator.

Виктор Пелевин

S.N.U.F.F.

Eksmo, December 2011, ISBN 978-5-699-53962-8

Extract: 2,168 words



В этот раз я расскажу о камере. Моя камера – "Hennelore-25" с полным оптическим камуфляжем, находящаяся в моей личной собственности, что позволяет мне заключать контракты на гораздо более выгодных условиях, чем это могут делать безлошадные господа. Я где-то читал, что "Хеннелора" - это позывной античного аса Йошки Руделя из партии "Зеленых СС", удостоенного Красного Креста с Коронками и Конопляными Листьями за подвиги на африканском фронте. Но я могу и ошибаться, потому что исторический аспект меня интересует крайне мало. Лично мне такое название напоминает имя ласковой и умной морской свинки. По внешнему виду это рыбообразный снаряд с оптикой на носу и несколькими рулями-стабилизаторами, торчащими в разных плоскостях. Некоторые находят в "Хеннелоре" сходство с обтекаемыми гоночными мотоциклами древних эпох. Из-за камуфляжных манит, покрывающих ее поверхность, она имеет матово-черный цвет. Если поставить ее вертикально, я буду ниже на две головы. "Хеннелора" способна перемещаться в воздухе с невероятным проворством. Она может подолгу кружить вокруг цели, выбирая лучший угол атаки или съемки. Она делает это тихо, так что услышать ее можно только когда она подлетит вплотную. А увидеть ее при включенном камуфляже практически нельзя. Ее микрофоны могут различить и записать разговор за закрытой дверью, гипероптика позволяет видеть сквозь стену силуэты людей. Она идеальна для слежки, атаки на бреющем полете - ну и, конечно, для съемок. "Хеннелора" - не самое новое, что есть на рынке. Многие считают что "Sky Pravda" превосходит ее по большинству параметров, особенно в области инфракрасной порносъемки. У "Правды" гораздо лучше оптический камуфляж - система "split time" на кремниевых волноводах. Ее вообще невозможно засечь. А моя "Хеннелора" использует традиционные метаматериалы, и мне не стоит подлетать к живой мишени слишком уж близко. И

то - лучше со стороны солнца. Но моя Хеннелора", во-первых, гораздо лучше вооружена. Во-вторых, тюнинг делает бессмысленным любое сравнение с серийными моделями. В-третьих, я сжился с ней, как с собственным телом, и пересесть на новую камеру мне было бы очень трудно. Когда я говорю "боевой летчик", это не значит, что я летаю в небе сам, всем своим толстым брюхом, как наши волосатые предки в своих керосиновых гондолах. Как и все продвинутые профессионалы нашего века, я работаю на дому. Я сижу рядом с контрольным маниту, согнув ноги в коленях и упершись грудью и животом в россыпь мягких подушек - в похожей позе ездят на скоростных мотоциклах. Подо мной самое настоящее оркское княжеское седло древних времен, купленное за огромные деньги у антиквара. Оно черное от времени, с еле различимой драгоценной вышивкой, и довольно жесткое, что при сидячей и полулежащей работе хорошо для профилактики простатита и геморроя. На моем носу легкие очки со стереоскопическими маниту, в которых я вижу окружающее "Хеннелору" пространство так же, как если бы я вертел приделанной к камере головой. Над контрольным маниту висит гравюра старинного художника "Четыре всадника Апокалипсиса". Одного по моей просьбе убрал знакомый сомелье, чтобы мое рабочее место стало как бы продолжением метафоры. Это иногда вдохновляет. Пилотаж - сложное искусство, похожее на верховую езду; в моих руках изогнутые рукоятки, а под ступнями - оркские серебряные стремяна, купленные вместе с седлом и подключенные к контрольному маниту. Сложными, почти танцевальными движениями ног я управляю "Хеннелорой". Кнопки на рукоятках отвечают за боевые и съемочные системы камеры; их очень много, но мои пальцы помнят их наизусть. Когда моя камера летит, мне кажется, что лечу я сам, корректируя свое положение в пространстве легчайшими движениями ног и рук. Но я не чувствую перегрузок. Когда они становятся опасными для систем камеры, реальность в моих очках краснеет, вот и все. Интересно, что менее опытный летчик рискует разбить камеру гораздо меньше, поскольку работает строенная "защита от дурака". Но мне приходится отключать эту систему ради некоторых особо изощренных маневров - и еще ради способности снижаться почти до самой земли. Если разобьется камера, сам я останусь жив. Но это будет стоить мне столько маниту, что лучше бы мне, право, умереть. Поэтому я действительно лечу сам, и эта иллюзия является для меня самой настоящей реальностью. Я уже говорил, что выполняю самые сложные и деликатные задания корпорации. Например, начать очередную войну с орками.

О них, конечно, надо рассказать в самом начале, а то будет непонятно, откуда взялось это слово. Почему их так называют? Дело не в том, что мы относимся к ним с презрением и считаем их расово неполноценными - таких предрассудков в нашем обществе нет. Они такие же люди, как мы. Во всяком случае, физически. Совпадение с древним словом "орк" здесь чисто случайное - хотя, замечу вполголоса, случайностей не бывает. Дело здесь в их официальном языке, который называется "верхне-среднесибирским". Есть такая наука - "лингвистическая археология", я ею немного интересовался, когда изучал

оркские пословицы и поговорки. В результате до сих пор помню уйму всяких любопытных фактов. До распада Америки и Китая никакого верхне-среднесибирского языка вообще не существовало в природе. Его изобрели в разведке наркогосударства Ацтлан - когда стало ясно, что китайские эко-царства, сражающиеся друг с другом за Великой Стеной, не станут вмешиваться в происходящее, если ацтланские нагвали решат закусить Сибирской Республикой. Ацтлан пошел традиционным путем - решил развалить Сибирь на несколько бантустанов, заставив каждый говорить на собственном наречии. Это были времена всеобщего упадка и деградации, поэтому верхне-среднесибирский придумывали обкуренные халтурщики-мигранты с берегов Черного моря, зарплату которым, как было принято в Ацтлане, выдавали веществами. Они исповедовали культ Второго Машиаха и в память о нем сочинили верхне-среднесибирский на базе украинского с идишизмами, - но зачем-то (возможно, под действием веществ) пристегнули к нему очень сложную грамматику, блуждающий твердый знак и семь прошедших времен. А когда придумывали фонетическую систему, добавили "уканье" - видимо, ничего другого в голову не пришло. Вот так они и укают уже лет триста, если не все пятьсот. Уже давно нет ни Ацтлана, ни Сибирской республики - а язык остался. Говорят в быту по-верхнерусски, а государственный язык всего делопроизводства - верхне-среднесибирский. За этим строго следит их собственный Департамент Культурной Экспансии, да и мы посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому что вся оркская бюрократия с этого языка кормится и горло за него перегрызет. Оркский бюрократ сперва десять лет этот язык учит, зато потом он владыка мира. Любую бумагу надо сначала перевести на верхне-среднесибирский, затем заприходовать, получить верхне-среднесибирскую резолюцию от руководства - и только тогда перевести обратно просителям. И если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут объявить недействительной. Все оркские столоначальства и переводные столы -а их там больше, чем свиарников, - с этого живут и жиреют. В разговорную речь верхне-среднесибирский почти не проник. Единственное исключение - название их страны. Они называют ее Уркаинским Уркаганатом, или Уркаиной, а себя - урками (кажется, это им в спешке переделали из "укров", хоть есть и другие филологические гипотезы). В бытовой речи слово "урк" непопулярно - оно относится к высокому пафосному стилю и считается старомодно-казенным. Но именно от него и произошло церковноанглийское "Orkland" и "orks". Урки, особенно городские, которые каждой клеткой впитывают нашу культуру и во всем ориентируются на нас, уже много веков называют себя на церковноанглийский манер орками, как бы преувеличенно "окая". Для них это способ выразить протест против авторитарной деспотии и подчеркнуть свой цивилизационный выбор. Нашу киноиндустрию такое вполне устраивает. Поэтому слово "орк" почти полностью вытеснило термин "урк", и даже наши новостные каналы начинают называть их "урками" лишь тогда, когда сгущаются тучи истории, и мне дают команду на взлет. Когда я говорю - "команду на взлет", это не значит, конечно, что мне

доверяют первую боевую атаку. С этим справится любой новичок. Мне доверяют съемку на храмовый целлулоид для предвоенных новостей. Любой человек в информационном бизнесе понимает, какая это важная работа.

На самом деле над каждой войной работает огромное число людей, но их усилия не видны постороннему взгляду. Войны обычно начинаются, когда оркские власти слишком жестоко (а иначе они не умеют) давят очередной революционный протест. А очередной революционный протест случается, так уж выходит, когда пора снимать новую порцию снафов. Примерно раз в год. Иногда чуть реже. Многие не понимают, каким образом оркские бунты начинаются точно в нужное время. Я и сам, конечно, за этим не слежу - но механика мне ясна. В оркских деревнях до сих пор приходят в религиозный ужас при виде СВЧ-печек. Им непонятно, как это так - огня нет, гамбургер никто не трогает, а он становится все горячее и горячее. Делается это просто - надо создать электромагнитное поле, в котором частицы гамбургера придут в бурное движение. Оркские революции готовят точно так же, как гамбургеры, за исключением того, что частицы говна в оркских черепах приводятся в движение не электромагнитным полем, а информационным. Даже не надо посылать к ним эмиссаров. Довольно, чтобы какая-нибудь глобальная метафора -а у нас все метафоры глобальные - намекнула гордой оркской деревне, что, если в ней проснется свободолюбие, люди придут на помощь. Тогда свободолюбие гарантировано проснется в этой деревне просто в видах наживы - потому что центральные власти будут с каждым днем все больше платить деревенскому старосте, чтобы оно как можно дольше не пробуждалось в полном объеме, но неукротимое восхождение к свободе и счастью будет уже не остановить. Причем мы не потратим на это ни единого маниту - хотя могли бы напечатать для них сколько угодно. Мы просто будем с интересом следить за процессом. А когда он разовьется до нужного градуса, начнем бомбить. Не деревню, понятно, а кого нам надо для съемки. Я не вижу в этом особо предосудительного. Наши информационные каналы не врут. Орками действительно правит редкая сволочь, которая заслуживает бомбежки в любой момент, и если их режим не является злом в чистом виде, то исключительно по той причине, что сильно разбавлен дегенеративным маразмом. Да и оправдываться нам не перед кем. Суди нас или нет - но мы, к сожалению, то лучшее, что есть в этом мире. И так считаем не только мы, но и сами орки.

Информационной поддержкой революционного движения в Оркланде занимаются сомелье из другого департамента, а я отвечаю исключительно за видеоряд. Что значительно важнее и с художественной, и с религиозной точки зрения. Особенно в самом начале войны, когда уже прошла первая волна заголовков ("мир предупредил орков"), а нормального фидбэка еще нет.

Последние несколько войн в паре со мной работал Бернар-Анри Монтень Монтескье - вы, вероятно, знаете это имя. Мало того, Бернар-Анри был моим соседом (слухи о его роскошном образе жизни сильно преувеличены). Мы не стали друзьями, потому что я не одобрял некоторых его увлечений, но знакомы

были близко, и в профессиональном смысле составляли хорошую крепкую команду. Я был ведомым-оператором, а он - обозревателем-наводчиком.

Сам он предпочитал называть себя философом. Так же его представляли в новостях. Но в платежной ведомости, которую составляют на церковноанглийском, его должность называется однозначно: "crack discoursemonger first grade". То есть на самом деле он такой же точно военный. Но противоречия тут нет - мы ведь не дети и отлично понимаем, что сила современной философии не в силлогизмах, а в авиационной поддержке. Именно поэтому орки и пугают своих детей словом "дискурсмонгер".

Как и положено настоящему философу, Бернар-Анри написал мутную книгу на старофранцузском. Она называется "Les Feuilles Mortes", что значит "Мертвые Листья" (сам он переводил чуть иначе - "Мертвые Листы"). Ударные дискурсмонгеры гордятся знанием этого языка и возводят свою родословную к старофранцузским мыслителям, придумывая себе похожие имена.

Это, конечно, чистейшая травестия и карнавал. Они, однако, относятся к делу серьезно - их спецподразделение называется "Le Coq d'Esprit", и на людях они постоянно перебрасываются непонятными картавыми фразами. Но мне хорошо известно, что Бернар-Анри знал на старофранцузском всего несколько предложений и даже песни слушал с переводом. Поэтому книгу за него, если разобраться, написал креативный доводчик с французским модулем.

Мы знаем, как сочиняются эти трактаты на старофранцузском - берется какая-нибудь смутная древняя цитата, загоняется в маниту, пальцы пару секунд щелкают по меню, и готово - кубики слов можно громоздить до потолка. Но другие наводчики ударной авиации не утруждают себя даже этим. Так что Бернар-Анри был добросовестным профессионалом, и если бы не его мрачное хобби, экранный словарь уделил бы ему горазд до больше места.

Многие до сих пор считают его эдаким бескорыстным рыцарем духа и истины. Он им не был. Но я его не осуждаю. Жизнь слишком коротка, и сладких капель меда на нашем пути не так уж много. Нормальный публичный интеллектуал предпочитает комфортно лгать вдоль силовых линий дискурса, которые начинаются и заканчиваются где-то в верхней полусфере Биг Биза. Иногда он позволяет себе петушиный крик свободного духа в безопасной зоне - обычно на старофранцузском, чтобы никого случайно не задеть. Ну и, понятно, разоблачает репрессивный оркский режим. И все. Любое другое поведение экономически плохо мотивировано. На церковноанглийском это называется "smart free speech" - искусство, которым в совершенстве владеют все участники мирового дух-парада. Это не так просто, как может показаться. Тут недостаточно известной внутренней пластичности, а необходимо еще и знание того, как эти силовые линии изгибаются на самом деле, чего никогда не понимают орки. А линии к тому же имеют свойство плавно менять положение, так что работа почти такая же нервная и рискованная, как у биржевого маклера. Вот, кстати - креативный доводчик предполагает, что слово "smart", то есть "хитроумный", образовано от древнего знака доллара (так когда-то назывались маниту) и

сокращенного "рынок" - "mart". Очень может быть. Но владение smart free speech само по себе – это довольно низкооплачиваемый навык, поскольку предложение значительно превышает спрос.

Только не подумайте, что я смотрю на этих ребят сверху вниз. Я по сути ничем не лучше. Как коммерческий визуальный художник я, безусловно, трусливый конформист -и меня вполне устраивает такое положение дел. Зато летчик я смелый и опытный, это факт. И еще - изобретательный и пылкий любовник, хоть та, на кого устремлена моя любовь, вряд ли сможет по-настоящему ее оценить. Но об этом потом.

Фигль-Мигль

Ты так любишь эти фильмы

Limbus Press, 2011, ISBN 978-5-8370-0572-5

Extract: 2,445 words



ХЕРАСКОВ

Я не жалуясь. Я понимаю, что могла быть фамилия и хуже – Пупкин, Рабинович, Жопа-на-Лавочке, что там ещё. Одно время я боролся, объяснял – старый дворянский род, писатель такой, например, был в XVIII веке – но кого XVIII век ебёт, да и самому надоело. Я ведь и сам про себя когда-то думал, что писатель, поэт, если точнее. (Стоп. Решительно не желаю.) Когда я понял, что жизни, зарящейся на наши мечты, следует энергично сопротивляться, было уже поздно. Защищать стало нечего. Береги, так сказать, мечту смолоду. А ведь как я когда-то...

(Нет. Об этом не желаю тоже.)

И день рождения такой, что смешнее не придумаешь, – двадцать девятого февраля. Маленькому родители, конечно, делали как у всех, на день раньше, но с возрастом я это пресёк: положено двадцать девятого, значит и будет двадцать девятого. Когда отмечаешь день рождения раз в четыре года, время идёт медленнее, а чем ты старше, тем это важнее.

Что я сделал со своей жизнью – мне самому до конца не понятно, но всё худшее случилось, когда я брался что-то исправлять. И внутренний голос меня не предупредил, не сказал «перестань» и «будь осторожен». Внутренний голос плохо выполняет свою работу. Вот если бы он говорил: «возьми зонт, будет дождь», или – «не бери зонта, дождя точно не будет», или – «хотя оно неплохо выглядит, покупать нельзя, потому что нитки гнилые», – вот тогда бы от него была польза. А так он говорит: «не ври ей, ей от этого больно»; «не дружи с Серёжей, Серёжа подонок» и прочую чепуху, ведь мы всё равно будем врать тем, кого не любим, и дружить с теми, кто нам нравится.

А ещё так: внутренний голос, как мальчик из басни, постоянно кричит: «волк! волк!» И наконец ты перестаёшь реагировать и не реагируешь в тот раз, когда надо.

Я курю, высунувшись в окно, а в кусты сирени, растущие внизу, громко мочится малопривлекательный молодой человек. Я размышляю, попаду ли с пятого этажа горящим окурком в его член, и если да, то отучит ли это молодого человека осквернять окружающую среду, хотя бы сирень, хотя бы конкретный куст сирени. Размышления эти абсолютно праздные, потому что поодаль молодого человека ждут трое или четверо (ну-ка, сосчитай) приятелей. Успею ли я отскочить от окна и затаиться? При условии, что никогда ещё не отскакивал и не затаивался.

Мои детские, даже подростковые мечты – это сплошь подвиги, и секс вытеснил их довольно поздно (хотя решительно). После чего в мечтах был только секс, и лишь изредка, по атавистической памяти, он украшался быстрой прелюдией подвигов. Постель и подвиги. То есть сперва подвиги, потом постель, но постели всё равно неизмеримо больше.

Преданный идеал детства: пить что-то бесконечно дешёвое и тихо обжиматься в кустах.

Когда появилась Саша, я сперва дрогнул. Был такой счастливый, что даже поверил в своё счастье. Написал хвалебную рецензию на пустой, в сущности, фильм – только потому, что в нём мелькнуло отдалённо похожее лицо. (Стоп. Стоп.) А потом всё стало как положено – у неё муж, у меня поблядушки, – и раз в неделю мы встречались, почти сохранив первоначальный энтузиазм и не напрягая друг друга вопросами, что там будет в будущем, – если будущее вообще будет.

Какая разница? Я утратил способность волноваться по поводу будущего. Никто из тех, кого я знаю, тоже особо не волнуется, даже женщины. Виктор? Он дёргается по привычке, получив её в наследство от поколений интеллигенции, двести лет чувствовавшей себя окуном на удочке. Он хороший человек без шансов войти в историю, и всё же хочет, чтобы с ним считались. С его тирадами в адрес нашей злополучной власти, с его мантрой «демократия, гражданское общество, цивилизованный мир» и с его законсервированным в тайниках души желанием стать гарвардским фул-профессором – интересно, по какой специальности. Лёгкое членовредительство на каком-то митинге ОМОН даровал ему как манну небесную, и он месяц проходил в эйфории, ни о чём так не горя, как о неуклонном исчезновении синяков. Он был бы рад носить их пожизненно – как медаль, паспорт, грамоту, удостоверяющую, что его заметили.

Он любит Родину – уверен, побольше моего, – но не на тот лад, и постоянно норовит заключить с предметом любви брачный контракт. В Викторе чувствуется непреклонная, безотчётная убеждённость в том, что пять послуживших отчизне поколений заработали лично ему место под совсем другим солнцем. Если Родина отказывается обеспечить своего сына требуемым светилом (а она отказывается! ещё как отказывается!! уж нашу-то Родину на мякине былых заслуг не разведёшь), он надеется обеспечить себя другой Родиной – но только не в другом месте, а на том же самом. Дрянная и неблагодарная Родина пусть проваливает, куда знает, здесь отныне воссядет Родина с правильными чертами лица и характера. Формам жизни, которые новая жопа будет давить по-старому и даже хуже, Виктор в существовании априори отказывает: что хорошо ему, то хорошо всем. Прости ему, Господь, он же слушает бардовскую песню. По контрасту с этим гуманизмом начинаешь ценить беспощадных, кровожадных, хищных эгоистов – особенно когда они молоды и красивы.

Ах, Саша! (Полегче. Полегче.) Я разговорился о Викторе, моём симпатичном и добром друге, чьи патентованные безвредность и непригодность столь удачно взывают к лучшим чувствам, чтобы не говорить о тебе. В былое время влюблённый поэт, расписывая свою молодку, не терял самообладания. Под ружьём у него стояли богатство словарного запаса, совершенство традиционных образов и собственное бесстыдство. (Как они его называли – вдохновение? Как мы его назовём – невинность?) И нервы как канаты. Конечно, чего ж не быть тогда канатоходцем. Или полководцем – во главе такой-то армии.

Но мне тяжело говорить о тебе, да и сказать нечего. То есть у меня много всего в схронах, к половине которых я и сам потерял дорогу, и я не стану рисковать, подбирая слова для невыразимых ужаса и восторга. Впрочем, всё можно при умении выразить; это вопрос не мастерства, а отваги. Или легкомыслия: когда душа не смеет выговорить, а язык как помело.

Ты хочешь, чтобы для тебя завоёвывали царства, и чего б не дала за возможность навсегда переселиться в декорации сериала «Рим». Чудаковатые, детски-безобидные фантазии, правда?

Зачем ещё снимают исторические сериалы, если не для того, чтобы ничтожество в халатике и со свежесжатым соком отождествило себя с Клеопатрой, а ничтожество в халатище и с пивом – с Марком Антонием. Зритель, мечтай! – не доходя, конечно, до развороченного живота и тому подобных глупостей – присылай приветы на короткий номер такой-то. (Цена услуги указана без учёта НДС.)

Нет, нет. Мне досталась женщина, которая мечтать не умеет. Любая, самая невинная, мечта претворяется в её руках в опасную и увесистую

действительность. Я был неприятно удивлён, когда после «Рима» меня не отправили покорять Египет. В конце концов, это обидно – до такой степени считаться ни на что не годным. Уж на то, чтобы с честью сдохнуть где-нибудь по дороге, гожусь даже я.

Здесь главное – пуститься в путь; подвиги совершаются на автопилоте. Это как с любовью: один раз отмучился и считаешь себя поумневшим, излечившимся, а потом приходит новая любовь, и ты повторяешь все те же ошибки, только ещё страшнее и непоправимее. (Идиот.)

К. Р.

Случайно придуманный мною профессор древнегреческого всерьёз занимает моё воображение.

«Каким он должен быть?» – гадаю я, сочиняя план занятий для девочек или текущий отчёт для Конторы. (Насколько труднее оказалось сочинить человека.) Я вложил в эту забаву столько сил, что начал чувствовать себя двойным агентом, аккуратно и бережно создающим креатуру для тайной игры против своих хозяев – если бы нашлись в мире силы, готовые заплатить за подрывную деятельность такого рода: древнегреческий *versus* порядка вещей.

Итак, прежде всего – широкая финансовая независимость. Наследственная или благоприобретенная? С одной стороны, не хочется, чтобы у моего профессора в активе были трудное детство и папа-алкоголик. Однако спецшкола и папасекретарь горкома оставляют на человеке клеймо едва ли не хуже, и если мне нужен поэт и убийца, душа необузданная, блестящая и во всём высокомерная, не в этот питомник следует обращаться.

Единственный выход – сделать вид, что герой явился из ниоткуда, из бессистемного дыхания

Бога, из ПТУ с такой же вероятностью, как из спецшколы. (Забавно. Один и тот же термин прилагался и к школе с углублённым изучением иностранных языков, и к школе полутюремного режима для трудновоспитуемых подростков. И мне ли не почувствовать эту тонкую насмешку языка над жизнью – основателю и бессменному директору элитного лицея для девочек, закрытого пансионата, в котором широким ассортиментом цветут барышни-хулиганки.) Возможно, и деньги его – ниоткудашние? Сильнее, чем репутация, пятнается

богатство вопросами о происхождении, и если вовремя не замолчать, не заболтать, не налгать с

три короба, сокровища запахнут сортиром. Взять хотя бы этот кабинет. Его самоуверенная роскошь уже не расскажет о годах накопления и потерь. Наборный паркет не покается, красное дерево стола и полки не выдаст, бронза письменного прибора не дрогнет; все они промолчат. Даже моя собственная рука,

которая так спокойно посверкивает запонкой на столе – не рука, а ещё одна деталь обстановки. (Уж она-то ведаёт, что творила.) Сверкай, моя милая, слепи глаза памяти. Профессору придётся стать пижоном.

Тук-стук, на пороге появляются завуч Анна Павловна и её бумаги. Порознь они ко мне никогда не ходят. Огромная пачка бумаг увлекает за собой тщедушную старушку, которой очень удобно прятать за бумагами живые стальные глаза. Анна Павловна знает, что всегда настоит на своём, – за исключением мелочей, крошек с барского стола, которыми она считает нужным подкормить моё самолюбие, – и хитрить для этого вовсе не обязательно. Однако ей нравится представлять себя испуганной и робкой, смущаться, трепетать.

Собственное могущество слаще кружит ей голову, являясь в тихих словах, смиренной повадке, – куда там богам попроще, с их громами и молниями. Завуч она прекрасный, преподавание в школе отлажено, как японский завод. Как человек и патриот я не вправе был доверять ей уроки русского языка и литературы в старших – да и вообще ни в каких – классах, и за это с меня взыщется на Страшном суде, должно взыскаться, если Страшный суд – Страшный суд, а не очередная порнография. Как представитель Конторы я это сделал – прощай, русский язык! покойся в бесчестии, родная литература! – и Контора осталась нами довольна. Анна Павловна и не подозревает, бедняжка, на кого так самоотверженно работает.

– Константин Константинович, – говорит Анна Павловна, – что нам делать с Шаховской?

Катя Шаховская – бич и позор нашей школы, моя последняя персональная надежда. Она упорно не хочет быть славной, доброжелательной, разносторонней девочкой, будущей женой, матерью и бизнес-леди. Она отказывается вести дневник, отказывается сидеть за компьютером, отказывается читать «Доктора Живаго», отказывается от танцев и китайского языка, рукоделия и спортивных игр. Шаховская делает всё, лишь бы её отсюда выперли, а её родители делают всё, лишь бы мы её здесь держали. Не знаю, чего они добиваются – чтобы прямо из пансиона она переехала в психиатрическую клинику? Элитную, разумеется.

Я откидываюсь на спинку своего прекрасного кресла и делаю вид, что глубоко, глубоко удручён.

– Что же, – говорю я неохотно, – придётся пойти на крайние меры. Нельзя подавать девочкам дурной пример.

Завуч – она меня раскусила – качает головой.

– Отчислить Шаховскую означает признаться в своём поражении, – мягко замечает она, и её интеллигентное лицо украшается улыбкой сочувственной укоризны.

Ну да, ну да. Как мы можем потерпеть поражение и уж тем более в нём признаться. Искалечить девчонку для школы теперь – дело чести.

– Не карцер же для неё заводить, – вяло сопротивляюсь я.

Очередной кроткой улыбкой умница Анна Павловна даёт понять, что оценила шутку.

– Разумеется. Карцер никогда не бывает выходом.

Разумеется. Для Шаховской вся школа – один большой карцер, если выделить для этой цели отдельный закуток, она даже почувствует себя уютнее – удостоверившись, как это и бывает в карцере с подобными людьми, что стоит на правильном пути.

– Я поговорю с ней, – сдаюсь я. Предыдущие разговоры («Зачем вы ударили Таню Зайцеву? – Зайцева стукачка. – Катя, нельзя решать такие вопросы кулаками. – А чем же их решать?») оставили у меня мерзкий осадок чуть ли не стыда. Где это видано, стыдиться перед четырнадцатилетней соплюхой? И я стыжусь уже того, что стыжусь, а вдобавок понимаю, что этот последний стыд отвратительнее любого другого.

– Значит, я пришлю её немедленно, – теперь Анна Павловна ловко – ловчее моего – делает вид, что вовсе не торжествует. Сама она уже набеседовалась с Шаховской до тошноты (о святая, святая), но верит, что победа не за горами: ещё две, три, двадцать три, сколько понадобится попытки, и эта иступлённая душа покорится, залившись слезами раскаянья и облегчения. К милосердным коленам припав.

Наконец пред мои ясны очи приводят преступницу. Она переминается у порога, одетая в нашу прекрасную форму, позаимствованную из клипа группы «Тату». Ножки худые, как спички, белые гольфы демонстративно спущены... а в этом бледном личике определённо не сияет заря обновлённого будущего. И кажется, что мой профессор встаёт рядом с этим затравленным ребёнком, поощрительно ей подмигивает, кладёт на плечо руку. Ах ты, грязный развратник! Я никогда не считал педофилию признаком хорошего вкуса.

Вкус профессора безупречен. И здесь я, помимо врождённого отвращения к *contemporary art*, настаиваю на костюме от Бриони. Умение подобрать машину, женщину и аксессуары бесценно, но только костюм даёт полную и бесповоротную индугенцию. Форма настолько идеальная, что становится сущностью, он развоплощает грех, делает его холодной и жалкой абстракцией, которую уже и самый искусный моралист не приклеит к этому неуязвимому неподсудному совершенству. Вот почему Контора железной рукой и пятой реагирует на поползновения своих менеджеров среднего звена форсировать не по чину. Сегодня он в Бриони, резонно рассуждает Контора, завтра с акцией на свой страх и риск, а послезавтра и с предъявой.

К хорошему костюму – хороший рост. Рост, возможно, не имеет значения для героя, которого изображает киноактёр, но герой настоящий – тот, кто проходит, если вам повезёт, мимо вас по улице, – должен быть рослым. Говорю это со всей ответственностью, как человек, который на голову ниже собственной жены, когда та на каблуках. А эта дрянь всегда на каблуках. 178 см ей недостаточно. Вот бы проучил тебя учитель свирепости, человек могучего телосложения и сведущий!

С трудом я вспоминаю, что и мне предстоит кое-кого проучить. Вернуть что-нибудь о пошатнувшемся здоровье бедной мамы? Бедная мама – крепкая лошадь, которую хватит удар только в том случае, если кто-нибудь из подруг перещеголяет её по части курортов и тряпок. Проблемы на работе у папочки? Это мало того что неправда, это не аргумент: папочкины проблемы интересуют только расчётливых умненьких гадёнышей, умеющих быстро скалькулировать относительно проблем курс собственных карманных денег. Действительно сильным аргументом была бы собачка, но собачку в прошлом учебном году усыпили.

– Почему они не отдадут меня в обычную школу?

Да, вот вопрос. Потому, моя милая, что это подорвёт их статус. К тому же, в обычной школе ты попадёшь в дурную компанию. Или – самое страшное – в компанию не своего круга.

– Они желают вам добра, – говорю я вслух.

Говорю вполне холодно и равнодушно, даже с намёком на безгливость – дескать, кто ещё станет это делать. Так-то, деточка: можешь ненавидеть родителей, но знай, что они – единственные, кого твоя судьба хоть сколько-то заботит. Жизнь – чёрный лес! За каждым деревом – голодный волк! Под каждым кустом – клубок змей! Красота! и вместе с тем выдумка, ибо предполагает простор для

приключений, пусть и пакостных: схватка с волками, состязание со змеями. На деле всё хуже. Жизнь – это пустыня, по которой бредёшь, тщетно гадая, верблюд ты или не верблюд, беглец или изгнанник более счастливых областей, или просто несомый ветром комочек травы... а кругом только песок, только камни, только отсутствие воды, и из всех приключений – усталость и жажда.

Профессор лениво привалился к дверному косяку, скрестил на груди руки и неопределённо улыбается. Глаза у него странного медового цвета, и он смотрит на меня как на размечтавшегося мальчишку. Катя Шаховская вертит пальцы и смотрит на меня как на бесчувственное чудовище. Я смотрю на свои запонки: одну, другую. «Тайная гармония лучше явной», – угрюмо думаю я.

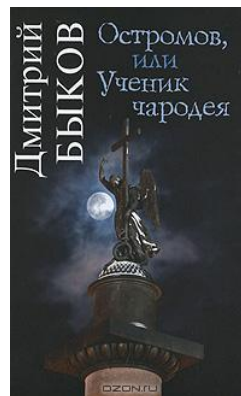
Дмитрий Быков

Остромов, или Ученик чародея:

Пособие по левитации

PROZAiK, 2011, ISBN 978-5-91631-107-5

Extract: 2,499 words



Алексей Алексеич Галицкий был человек надеющийся. Это его и сгубило.

До восемнадцатого года он играл в частном театре Берка, но Берк бежал, а театр закрылся. Галицкому было легче, чем многим: семьей он не обзавелся, предпочитая домашним оковам холостяцкий уют и необременительные связи. В восемнадцатом ему было сорок семь лет, он был еще крепок и, как сказано, надеялся. Поиски заработка привели его в группу лекторов ПЕКУКУ — Петроградской комиссии управления культурой учащихся, созданную страстным пропагандистом устного слова Табачниковым. Табачников полагал, что устная речь усваивается прочнее письменной, а оттого все преподавание в школах для победившего пролетариата надлежит свести к устным лекциям по всем отраслям знания, прежде всего к чтению вслух, и Галицкий тут был незаменим. В любую погоду отправлялся он в школьные и университетские аудитории, а потом, когда Табачников расширил свои полномочия, — и к заводчанам; голос срывался, хрипел, но Галицкий читал.

Это было, конечно, безрадостное занятие. Алексей Алексеич и себе не признался бы в этом, и шумно рассказывал друзьям, как заряжает его аудитория благодарностью и энергией, но читать детям, а в особенности заводчанам, в длинных холодных аудиториях с пыльными окнами, было ему трудно. Новый репертуар, состоявший в основном из виршей пролетарского поэта Кириллова, длинных и красных, как кумачовая лента, — не трогал слушателей и был противен ему самому, а старый почти целиком попал в недозволенное. Он выкраивал по строчке, набирая композиции из Бальмонта и Минского, у которых тоже в свое время хватало кумача, но умудрялся протащить и любовное — строф пять, не больше. В остальное время пролетарии были сонливо-неподвижны, словно устали раз навсегда, еще до всякой работы.

Зато каким счастьем было возвращаться домой — пешком, по спящему городу, где ему почему-то ни разу не встретился ни один из легендарных грабителей, о которых столько судачили! Алексей Алексеич шел по снежному Петрограду, сказочному городу без огней, и вслух читал сугробам то, что хотел. Только эти возвращения и сохранила благодарная память Галицкого, а чтения перед

пролетариатом он напрочь забыл; они снабдили его скудным пайком, а большего от них не требовалось. Да и в глазах пролетариев иногда мерещилась ему благодарность и даже изумление, с которого всегда начинается любовь к искусству, и вскоре кто-то из благодарных пролетариев на него донес. Они не для того собирались после трудового дня, чтобы слушать старорежимное; и Табачников закатил Алексею Алексеичу долгий скандал.

Он кричал, что новаторская его теория и так встречает оголтелое сопротивление, что сейчас нужно читать рабочим не лирику про букэ-э-эты (которой Галицкий сроду не читывал), а давать им основы знаний, вот хоть из физики, а если уж актеры так бесполезны, что не могут читать из курса физики, пусть по крайней мере дают выдержанную программу, чтоб никто не смел подкопаться! Алексей Алексеич чувствовал, что главное не сказано, и потому сам, широко улыбаясь из деликатности, предложил отчислить его из штата ПЕКУКУ, что ж такого, ничего страшного, он изыщет возможности... Табачников тут же успокоился, помягчел и даже назвал голубчиком, долго жал руку и клялся вернуть Галицкого в должность, как только оппоненты устного чтения хоть немного умят злодейский пыл и дадут, понимаете ли, дышать.

Так Алексей Алексеич остался без службы, но он, как мы знаем, был человек надеющийся, а потому не стал унывать и обратился к Виктору Петухову, директору ШКУРЫ номер пять, как назывались пятые Школьные Курсы Выборгской стороны. Петухов тоже был экспериментатор, да все были экспериментаторы: ничему уже нельзя было научить в простоте — все только с привлечением небывалых методик, вот и Петухову казалось, что для усвоения нужны телесные действия и что вообще память тела, как он выражался, сильнее ума. На всякий физический закон находилось у него физическое упражнение. Алексей Алексеич пошел к Петухову, предложил свои услуги и с осени девятнадцатого уже вел кружок, куда потянулись со временем и товарищи шкурников: поставили они «Сказку о царе Салтане», «Блоху» и подбирались уже к Шекспиру. Конечно, действовать приходилось в рамках антимонархического репертуара, чтобы под занавес поразить социальное зло, — но Алексей Алексеич умудрялся и тут вворачивать свое, читать им Брюсова, и видеть в их глазах... что можно было увидеть, в желтых голодных глазах школьников двадцатого года? Но ему казалось, что слово его падает на добрую почву, и точно — двое затравленных, безнадежно униженных, начали как будто расцветать и даже что-то изображать, и Алексей Алексеич приглашал их домой на морковный чай и задушевный разговор, и несколько раз ему доверили провести урок, когда заболел словесник, — всего невыносимей было требование Петухова присесть при чтении «Онегина», чтобы и весь класс тоже приседал.

Но каким счастьем было возвращаться домой — пешком, в тот прелестный вешний час, когда день клонится к вечеру, но еще светло, и над Петроградом широко стоит морковная, нет, лучше абрикосовая заря! Как хорошо было читать доверчивому балбесу Анисимову что-нибудь из любимого, замечая, что он задает все более осмысленные вопросы! Во всем, решительно во всем можно было найти

прелесть и смысл, если смотреть незамутненными глазами, и Алексей Алексеич Галицкий был бы счастлив и на этой службе, если бы Петухов не проштрафился чем-то перед начальством и школа его не была расформирована, причем забытые Малахов и Анисимов, только начавшие что-то понимать и запоминать, пошли работать — один в депо, другой на табачную фабрику имени Троцкого, и там им суждено было немедленно забыть все, чему выучил их чудаковатый артист.

Алексей Алексеич и тут не приуныл, тем более, что никому не было легче. Позвав на пятидесятилетие немногих друзей по театру Берка да странного соседа Поленова, в одиночку растившего дочь Лидочку, он порасспросил, кто чем занят, и услышал много безрадостного. Кто распродавал последнее, кто спекулировал, кто обучал манерам отпрысков новых хозяев — едва победив, тут же захотели изящного; в артистах удержались человек пять из бывшей труппы, и Алексей Алексеич считал себя счастливчиком. Кроме того, как мы помним, он был человек надеющийся — и отправился к брату в Крым, где близ Судака открывалась санатория для туберкулезных детей.

Письмо об открытии санатории он получил в начале двадцать второго и, передав ключ от квартиры соседу Поленову, легко отбыл в Крым, на блаженное побережье, в компанию своего вечно угрюмого брата Ильи и его доброй жены Ады. Ему пришлось по душе старший племянник, пухлогубый восторженный Даня, зачитывавший всех своими стихами и выпускавший рукописный альманах; младший, рожденный за год до войны, еще не определился, но, казалось, пошел в отца. Брат Илья жил очень бедно, долго доказывал, что в седьмом году попал в ссылку за политику, получил крошечную пенсию и страшно скупился. Если б не Ада, неистощимая на выдумки, шутки и сказки, в доме было бы совсем грустно, и Алексей Алексеич поспешил съехать в лагерь имени Луизы Мишель. Там он устроился воспитателем, не забыв про себя отметить, что все глубже скатывается в детство — сначала читал пролетариям, потом старшим школьникам, теперь вот страдающим детям от пяти до двенадцати, и правду сказать, эта работа была из самых невыносимых — на жаре читать и рассказывать больным, самый вид которых мучил Алексея Алексеича. Самое ужасное, что больные дети ссорились и обзывались, как здоровые: это мешало жалеть их. Слушая Робинзона, они ненадолго забывали вечные ссоры, прекращали кидаться камнями — которые бросали мастерски, компенсируя неподвижность меткостью, — и свистящим шепотом повторять друг другу чудовищные, непредставимые в детских устах слова; но скоро привыкли и уже ничего не слушали. Взаимное мучительство было интересней всякого Робинзона. Алексей Алексеич вообразить не мог, что неподвижные дети способны производить столько шума — и так взросло ненавидеть любого сочувствующего, не испытывая ни малейшей благодарности. Персонал, впрочем, платил им тем же, раздавая подзатыльники направо и налево. Осенью Галицкий покинул Крым и вернулся в Петроград, в квартиру, куда решением домкома вселили ему для уплотнения счетовода из финотдела, пунктуального человечка по фамилии Ноговицын.

Алексей Алексеич, напомним, был человек надеющийся. Он и тут понадеялся, что в Ноговицыне есть что-то человеческое, хотя вечный ужас сделал из соседа сверхпунктуальное существо с манией отчитываться за каждый шаг если не справкой, то свидетельством. Он и свидетельствами Галицкого старался заручиться — бог весть на какой случай: каждый день, приходя с работы, просил подтвердить, что вернулся в шесть с половиной вечера. Галицкий завел даже журнал возвращений Ноговицына, явно подкупив его этой мерой. Расчувствовавшись, Ноговицын признался, что бояться стал после ареста коллеги по финотделу, оказавшегося, представьте, бывшим офицером! «Но ведь вы не офицер», — полувопросительно утешил его Галицкий. «Нет, как можно! Но поймите: ведь он был хороший бухгалтер. И ничего такого не делал». «Вам это не грозит», — успокаивал Галицкий. «Не скажите, теперь может быть все!» — твердил Ноговицын, но доверять начал, хоть и не сразу. Убедившись, что Галицкий никогда не был офицером и что за такую рекомендацию его никуда не заберут, новый жилец рекомендовал его в финотдел, ибо грамотные были на вес золота, а почерк у Алексея Алексеича был, как характер — ясный и круглый.

Так Алексей Алексеич простился с актерством и сменил-таки профессию, как большинство новых бывших, — к коим себя не причислял, ибо никогда не угнетал человека человеком, как шутил в письмах к сестре. Он и на новой должности, ненавидимой до тошноты, утомлявшей, как ни одна репетиция, — умудрялся вспомнить актерство и приноровить его к финотделу, создавши театральный кружок и поставивши в нем драматический лубок с элегическим названием «Как я попа разлюбил». И каким блаженством было идти домой, когда два часа кружковых репетиций наконец иссякали и крупные весенние звезды висели над плоским городом! В этой светлой перспективе не все ли равно, кем быть — чтецом, бухгалтером, вожатым? Между тем смутный голос шептал ему, что отнюдь не все равно, что по капле он уступал себя, спускаясь от Гюисманса к Кириллову, а оттуда к лубку — и что ж было удивляться, если ни горе, ни радость не переживались теперь с прежней остротой? Переживать было нечем; легко утешаться словом «возраст», но что возраст, ежели Глинский и в восемьдесят порхал по сцене в «Учителе танцев», а в Глостере рокотал так, что содрогались колосники?

Алексей Алексеич попробовал, конечно, сунуться в Большой драматический, да куда — Монахов, Юрьев, Лаврентьев, и тем, как по старому знакомству доверительно шепнул Лаврентьев, было не вздохнуть: то «Дон Карлос» нехорош — зачем в революционерах ходит королевский сын? — то в «Коварстве и любви» мало угнетения, и комик Степанов надерзил комиссару, что если надо пролетариат, так мы поставим «Разбойников», только заступничество Андреевой и спасло. Что делать, в шестнадцатом году в Петрограде было больше актеров, чем требовалось в двадцать втором; и Алексей Алексеич бухгалтерствовал, покамест в первую чистку двадцать третьего его не вычистили со свистом — как шепнул Ноговицын, именно за кружок, потому что если бы не было кружка — то еще бы, конечно, потерпели. Хотя Алексей Алексеич был, как сказано выше,

человек надеющийся, эта перемена обескуражила и его. Вдобавок и Ноговицын тотчас съехал, точно боясь заразиться; и что все эти Гоголи умилялись маленьким людям? Маленький человек прежде всего трус. Тут-то Галицкий понял: для преуспевания все теперь следовало делать как можно хуже, таков главный закон установившегося порядка. Дурная работа была не просто извинительна, но единственно праведна: много страдал, плохо кормили, рос в убожестве. Несколько таких убогих трудились и в райфинотделе, и ничего им не сделалось — Галицкий, казалось, слышал, как они злорадно посмеивались ему в спину.

Судьба переменилась в двадцать третьем году, когда вдруг оказалось, что все одинаково устали от кумача. Вдруг открылось множество вакансий: там бал, там детский праздник. У Галицкого, заведшего за пять лет выживания знакомство чуть не во всех сферах жизни, так и замелькали перед глазами бывшие персонажи — и как, боже мой, причудливо тасовались! Вот пронесся Табачников, ныне распространитель целительных резиновых бандажей, вот забитый Анисимов — он был теперь в Смольном старшим автомехаником, богом местного гаража, и приглашал покататься, по старой памяти; вот комик Степанов подрабатывал куплетистом в новооткрывшейся «Вене», и непонятно, откуда что взялось, ведь только что лакомством казался хлеб со жмыхом; вот Петухов держал лавку, торговал мехами и почему-то мылом, оброс жирком, подарил брусок душистого «Аметиста», густо-лилового, фингального цвета. Все были очень ласковы с Галицким, избывая, быть может, давнюю вину, — но странное дело, эта новая ласка угнетала Алексея Алексеича больше, чем тогдашняя суровость. Как человек надеющийся, он попробовал было и тут не пропасть — в вихре бандажей, гаражей, ресторанов, где пел Степанов, и мехов, которыми торговал Петухов, вдруг оформился смутно памятный еще по театру Берка приятель, прощельга Замойский, и присоветовал частную труппу. И Алексей Алексеич пошел по указанному адресу, где бывший декоратор ставил французские водевили, которые сам же и переводил, надо же соответствовать; и Галицкий как человек надеющийся стал играть в комедии «Ни бе, ни мэ, или Где ты, Сесиль?». Сесиль была, разумеется, в шкафу. В первый же выход Алексей Алексеич почувствовал, что стал мертвей того дуба, из которого сколочен был шкаф с Сесилью; может, если бы он чуть меньше надеялся и оттого не со всем соглашался, в нем и осталось бы чуть больше того вещества, которое помнит, воображает и изображает других, но за пять лет надежды и привыкания все это так прочно заросло хрящом, что Галицкий играл из рук вон плохо — даже декоратор, обычно скупой на восторги, похвалил его.

Так окончилась его прежняя жизнь, еще теплившаяся среди голода, но погибшая среди нэпа; он, разумеется, еще надеялся, ибо надежда умирает последней, но уже почти не думал, не читал и не разговаривал с сугробами. Город зарастал лавками. Кумача не стало меньше, но он словно промаслился. Алексей Алексеич тосковал, но смутно, как сквозь жир. Военный коммунизм был плох, но теперь стало мертвее. Еда не имела вкуса. Он задумывался о том, что надо

жениться или хоть завести собаку, — но тут получил письмо от брата о смерти жены и скором приезде племянника.

Брат писал странное: когда в Петербурге, казалось бы, настало послабление, в Крыму вдруг стали брать всех, кого могли заподозрить в связях с белогвардейщиной, вот уж четыре года как разгромленной и бежавшей. Чудовищный Фирман, командированный в Судак для окончательного выявления белого элемента, арестовывал кого попало, и Аду взяли только за то, что она ухаживала за больным Скарятинским, чей сын действительно бежал на одном из последних кораблей, но при чем же Скарятинский и тем более Ада? Старик умер, Аду выпустили через три недели, Даня страшно переживал, Валя заболел от страха, но главное — за эти три месяца с Адой случилось что-то ужасное. Словно огонь в ней погас. Она больше не рисовала с Даней журнал, не учила Валю играть, забросила огород, сидела на крыльце и плакала, и вдруг пневмония, и все. Он никогда не предполагал в ней такой слабости. В письме брата так и слышалась его вечная обиженная интонация: он продолжал сердиться на жену — как она могла уйти, не подумав о нем, о детях? Что за нежности, в конце концов, другие сидели и больше, и возвращались крепкими, здоровыми, еще и с запасом счастья, что вот, отпустили... Теперь, конечно, он не может в одиночестве заботиться о взрослом Дане и десятилетнем Вале, а потому не мог бы Алексей... Алексей Алексеич немедленно ответил, что мог бы, — Даня был прелесть и, кажется, способен был разбудить его; заодно он с тоской подумал о том, что жениться на Аде, конечно, следовало ему, а не Илье.

Отправив письмо, он зашел к соседу, инженеру Поленову.

— Вот, Константин Исаевич, — сказал он бодро, надеясь по обыкновению отвлечь Поленова от вечной скорби, в которой тот пребывал со дня таинственной гибели дочери. — Приедет ко мне Даня, удивительный мальчик. Племянник.

Поленов поднял голову — он как раз выклеивал коллаж с портретом дочери, уже, кажется, пятнадцатый, — и посмотрел на Галицкого с явным, самодовольным раздражением.

— Не пойму я вас, Алексей Алексеич, — сказал он. — Ну, приедет. А мне что за дело?

— Я думал, вас развлечет... — сказал Галицкий. Как человек надеющийся, он продолжал верить, что Поленова можно разговорить — и что сам он желает того. Это была ошибка. Поленов жил своей скорбью, как Галицкий — надеждой, и в реальности не нуждался. Так что когда Алексей Алексеич, для приличия поговорив о пустяках, отправился к себе, Поленов проводил его взглядом, какого испугался бы посторонний.